

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

И.З. Серман



СВОБОДНЫЕ  
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Воспоминания, статьи

**Илья Серман**  
**Свободные размышления.**  
**Воспоминания, статьи**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=9603933](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9603933)  
Свободные размышления Воспоминания, статьи :  
ISBN 978-5-4448-0366-0*

**Аннотация**

За 97 лет, которые прожил И. З. Серман, всемирно известный историк русской литературы XVIII века, ему неоднократно приходилось начинать жизнь сначала: после Отечественной войны, куда он пошел рядовым солдатом, после возвращения из ГУЛАГа, после изгнания из Пушкинского дома и отъезда в Израиль. Но никакие жизненные катастрофы не могли заставить ученого не заниматься любимым делом – историей русской литературы. Результаты научной деятельности на протяжении трех четвертей века частично отражены в предлагаемом сборнике, составленном И. З. Серманом еще при жизни. Наряду с работами о влиянии одического стиля Державина на поэзию Маяковского и метаморфозах восприятия пьес Фонвизина мы читаем о литературных интересах Петра Первого, о «театре» Сергея Довлатова, о борьбе между славянофилами и западниками и многом другом. Разные по содержанию и стилю работы

создают мозаичную картину трех столетий русской литературы, способную удивить и заинтересовать даже искушенного читателя.

# Содержание

М. Серман	6
ВОСПОМИНАНИЯ	22
Первые тридцать лет	22
Конец ознакомительного фрагмента.	69

**Илья Захарович Серман**  
**Свободные размышления**  
**Воспоминания, статьи**



# М. Серман

## О моем отце

*On doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts  
que la vérité.*  
*Voltaire*

Мой отец, Илья Захарович Серман, прожил почти целый век – он умер в 97 лет. Большую часть своей жизни он посвятил истории русской литературы. Известный ученый, автор целого ряда фундаментальных работ, он безусловно был и прекрасным преподавателем, и скрупулезным и внимательным исследователем, и, конечно, глубоко и разносторонне образованным человеком. Но главное, что, на мой взгляд, отличало его от большинства людей, – это необыкновенная работоспособность. Работать он мог в любых условиях. На холодной даче в Зеленогорске, когда писать приходилось на углу кухонного стола, надев пальто, или в душном бунгало в Катскильских горах. Не имело значения, в какой стране или по дороге в какие страны это делалось. Россия, Израиль, Америка, Франция, Италия, снова открывшиеся для него Россия, Ленинград (ставший Петербургом) и Пушкинский Дом – все это выполняло лишь функцию декораций. Главное было – служение науке, что он и делал, порой наперекор тяжелым обстоятельствам, всю свою жизнь, и прекра-

тил лишь однажды, но уже навсегда, на девяносто восьмом году жизни.

22 сентября 2013 года исполняется 100 лет со дня его рождения. Жизнь и судьба моего отца, И.З. Сермана, как и многих его ровесников и коллег – представителей второго поколения советской интеллигенции, повторяла путь, пройденный страной за все это нелегкое время. Его детство, во многих деталях до сих пор неясное даже для его близких, проходило в водоворотах Первой мировой войны, революции и хаосе первых лет советской власти. Довольно неустойчивым было и состояние семьи – родители разводились, а двенадцатилетнего сына пересылали из одного дома в другой: «Отец привез меня на зимние каникулы 1925/26 учебного года из Киева в Москву с тем, чтобы я вернулся к нему. Уехав в Киев, он оттуда написал маме, что не хочет моего возвращения. Не помню точно, чем это мотивировалось, меня это не занимало, я привык к смене родительских домов и городов» (Первые тридцать лет. С. 21). В других воспоминаниях он пишет более откровенно: «Родители перекидывались мной, как футбольным мячом...»

В школе, вернее в нескольких школах, в зависимости от того, с кем из родителей он находился в данный момент, тоже не все было ладно. Шли постоянные школьные реформы, вводился, например, как рассказывал мне он сам, бригадный метод, когда за приготовление домашних заданий отвечал не каждый ученик, а вся бригада (класс). Естественно, что при

таким методом отдельным ученикам делать уроки было необязательно, что не способствовало успешному обучению предметам.

Относительно более стабильное юношество отца, когда проявились и развились его интересы к литературе и поэзии, тоже было не безоблачным. Его мать, Генриетта Яковлевна Аронсон (в замужестве Векслер), известная революционерка, член Бунда, в страхе перед царящим в стране террором вышла из партии. При этом она лишилась партийных льгот, а самое главное, принадлежности к правящему сословию. После того как она вновь вышла замуж, отчимом Ильи стал Иван Иванович Векслер, литературовед, впоследствии профессор русской литературы, специалист по А.Н. Толстому. Генриетта Яковлевна в это время была заведующей секретариатом в «Литературном современнике». При такой семейной ситуации мой отец автоматически становился сыном служащих, а значит, должен был пройти трудовую школу (то есть поработать 3 года на заводе), прежде чем поступать в вуз. Без этой трудовой школы в вузы принимали только детей рабочих и крестьян. В течение трех лет отец проработал слесарем на заводе «Знамя труда». Подробности его недолгой заводской карьеры описаны у него в очерке «Первые тридцать лет».

С первых лет студенчества в ЛИФЛИ<sup>1</sup> отцу удалось стать

---

<sup>1</sup> ЛИФЛИ – Ленинградский институт философии, литературы и истории, впоследствии филологический факультет Ленинградского государственного универ-

частью той общности студентов, преподавателей и ученых, которой суждено было занять значительное место в культуре и истории Ленинграда 1950 – 1960-х годов. В эту группу входили такие значительные фигуры, как П.Н. Берков, Г.А. Бялый, Д.С. Лихачев, В.М. Жирмунский, Л.М. Лотман, Я.С. Лурье, Г.П. Макогоненко, В.И. Малышев, Б.М. Эйхенбаум, лингвисты и переводчики Е.Г. Эткинд, А.Г. Левинтон, Г.В. Степанов, В.Е. Шор и другие – о многих из них читатель узнает из главы «Первые тридцать лет» и очерка «Из воспоминаний о себе самом». Научное направление выпускника ЛГУ Ильи Сермана – история литературы – было определено в разговоре с блестящим и «незабываемым»<sup>2</sup> (по словам моей матери Р. Зевиной, учившейся там же) – профессором Г.А. Гуковским<sup>3</sup>. Сложный и очень важный процесс определения места ученика в науке его наставником виден из следующей сцены, описанной в воспоминаниях отца: «В студенческие годы, вероятно в 1935 году, прочитав мою дипломную работу о Батюшкове, Григорий Александрович Гуковский мне сказал: “Вы – историк”. Тогда я обиделся, мне показалось, что он отводил мне второстепенную роль по сравнению с теми, кто может анализировать стилистику и поэти-

---

ситета (ЛГУ).

<sup>2</sup> «Незабываемый» – название очерка Р. Зерновой о Гуковском (Новое литературное обозрение. 2002. № 3 (55)).

<sup>3</sup> Григорий Александрович Гуковский (1902 – 1950) – советский литературовед, филолог, критик, крупнейший специалист по русской литературе XVIII века; умер в заключении.

ку... Мне понадобилось два десятка лет, чтобы понять, в какой мере история входит в самую сердцевину моей историко-литературной работы и какой методики анализа она требует».

Отец вновь повторил слова Гуковского о своей задаче как ученого в интервью 1990-х годов, данном Сергею Довлатову для «Радио Свобода»: «Вы называете меня литературоведом, а я не литературовед, я – историк литературы!»

В момент, когда отцу стало ясно, чем он будет заниматься как ученый, началась война. Во время блокады отец поступил работать на Ленинградское радио, где в то время уже работали его друг и сокурсник Юра (Георгий Пантелеймонович) Макогоненко, впоследствии видный ученый – исследователь русской литературы, и Ольга Берггольц – уже тогда известная поэтесса. Отца поразило, что на радио блокадного города не было цензуры – на нем иногда выступали просто люди с улицы или солдаты с передовой, случайно попавшие в город, говорившие о том, что у них наболело: о голоде и холоде, отсутствии дров. И никто из начальства на это не реагировал – было не до того.

Блокада началась 8 сентября 1941 года, а в декабре того же года отец пошел добровольцем на фронт. Как имевший высшее образование и техническую подготовку – все-таки три года был слесарем, – получил звание лейтенанта, командовал минометным расчетом. О войне рассказывал мне, десятилетнему, жаждающему узнать побольше о боевых подви-

гах отца, очень неинтересно: «Мы сидели в окопах, и немцы сидели в окопах. Они на нас смотрели в бинокль, а мы на них».

После контузии в августе 1942-го отец был отправлен в эвакогоспиталь в Череповец, а затем в Ташкент, где был уволен в запас. В эвакуации он познакомился с приехавшей из Испании переводчицей, тоже бывшей студенткой филфака – Р.А. Зевинной, ставшей потом писательницей Р. Зерновой, и женился на ней. Там же в 1944 году родилась их дочь и моя сестра Нина. О жизни в эвакуации у нас в семье сохранился смутно запомнившийся мне рассказ о том, как в их крошечной комнате кому-то приходилось спать на столе, а кому-то – под столом. Мне эти рассказы в детстве очень нравились, и они меня очень смешили, хотя какое-то время спустя мне стало ясно, что участникам такого размещения на ночь было не до смеха.

После окончания войны уже втроем Серманы вернулись в Ленинград, где в 1946 году родился я, их сын Марк. В Ленинграде, в квартире, принадлежавшей прежде его отчиму профессору И.И. Векслеру, которая к этому моменту стала коммунальной, отец с новыми силами принимается за свое любимое дело – пишет исследовательские работы, редактирует издания русских классиков и преподает в Ленинградском педагогическом институте. Мирная жизнь моих родителей продолжалась, однако, недолго.

В 1949 году, в разгар антисемитской кампании по «борь-

бе с космополитизмом», мои родители были арестованы и осуждены на долгие годы заключения в исправительно-трудовых лагерях по статье 58, пункт 10 – за антисоветскую пропаганду и агитацию. Основанием для их посадки были разговоры между супругами, записанные подслушивающим устройством. Но это все нам стало известно потом, много лет спустя, а тогда моей сестре и мне грозил детский дом и перемена фамилии, гарантировавшие лагерное будущее и для нас. Нам повезло, меня взяли одесские бабушка и дедушка – родители матери, а Нина осталась у бабушки в Ленинграде.

Смерть Сталина и последующая амнистия спасли родителей и дали им возможность вернуться домой. Это не означало, однако, что можно было начать жизнь с того момента, где арест ее оборвал. Пять прошедших в разлуке лет не могли не сказаться на всех четверых, а особенно на детях, для которых эти пять лет были очень важны для развития и формирования характера. Сложная семейная ситуация, жизнь в коммунальной квартире и отсутствие работы – вот то, с чем пришлось иметь дело отцу по возвращению домой. Надо было искать и браться за любую работу, но и это было нелегко – тем, кто возвращался, не доверяли, да и не было прямых указаний сверху, а страх оставался. Вот довольно типичная сцена из того времени, какой ее передает отец в воспоминаниях о Пушкинском Доме: «...одна из моих сокурсниц по университету, теперь сотрудница сектора <Пушкинского дома>, сказала мне: “Вы, Ильюша, не садитесь со мной рядом

на заседаниях сектора». Такова была <...> атмосфера страха, несмотря на прошедший в феврале 1956 года XX съезд со знаменитым докладом Хрущева о сталинских преступлениях».

Через два года такой жизни наступил знаменательный момент – И.З. Серман был принят на должность младшего научного сотрудника в ИРЛИ Пушкинский Дом. Вот как он его описывает сам: «В 1954 году, вернувшись из дальних странствий, я при помощи друзей и доброжелателей получал литературную работу... Так продолжалось до весны 1956 года, когда, проходя мимо Пушкинского Дома, я встретил Юру Фридлендера<sup>4</sup>, которого знал еще по университету. “Илья, – сказал он, – вы идиот, у нас в институте конкурс. Почему вы не подаете, вы ведь ничем не рискуете!” Я тут же направился в канцелярию, где секретарша меня хорошо знала. Она объяснила, какие нужны документы, срок подачи истекал через два дня, но она меня обнадежила – подадите, остальные потом. Как я полагаю, она считала, что никаких шансов пройти у меня нету и потому нехватка документов не будет иметь значения <...> старики проголосовали за меня <...>. Так я совершенно неожиданно стал м.н.с. – младшим научным сотрудником сектора новой литературы...»

И.З. Серману, моему отцу, было тогда сорок три года.

Это там, в Пушкинском Доме, им были написаны и опубли-

---

<sup>4</sup> Георгий Михайлович Фридлендер (1915 – 1995) – литературовед, сотрудник Пушкинского Дома.

ликованы фундаментальные работы и бесчисленные статьи, там произошла защита докторской диссертации. В 1976 году, после отъезда дочери за границу, в ИРЛИ прошло разбирательство, и за политическую неблагонадежность отец был изгнан из Пушкинского Дома.

Вечером того же дня, когда произошло судилище в Пушкинском Доме, мать обнаружила в почтовом ящике вызов в Израиль. По странному совпадению точно такой же вызов оказался в тот же вечер и в нашем с женой почтовом ящике – на другом конце города. Такой ход событий предопределил наше решение: всей семьей мы подали заявление на выезд. Разрешение на выезд родителям (но не нам с женой) было дано в самый короткий срок. Мать потом мне говорила: «Видишь, они нас выталкивают!»

И их вытолкнули, после некоторого количества мелких, но очень болезненных и психологически точных унижений. Запомнился такой эпизод: во время лихорадочных сборов перед отъездом, когда на все давали две недели, и родители, и мы целыми днями метались по всему городу, собирая справки, подписи, открепления, разрешения, ставя никому не нужные печати на никому не нужные бумаги и переводя дух лишь к вечеру. В один из таких вечеров отец пришел домой и стоял, не снимая пальто, бледный и абсолютно потерянный. После длинной паузы он поднял на нас глаза и сказал: «Они не разрешили мне взять ни одной книги Григория Александровича!»

Таким потерянным и убитым я его никогда не видел, даже в день изгнания из Пушкинского Дома. Оказалось, что он представлял в специальную комиссию при Публичной библиотеке список книг, которые собирался взять с собой, и из этого списка вычеркнули все без исключения книги его учителя и наставника Г.А. Гуковского. То есть опять ему был нанесен удар в болевую точку. Самым последним и каким-то цинично-ироническим унижением был обязательный «добровольный» отказ от гражданства, за который еще надо было и заплатить немалые по тому времени деньги: по 500 рублей каждому отъезжающему – две месячные зарплаты доктора наук и бывшего старшего научного сотрудника.

В двадцатую годовщину поступления в Пушкинский Дом мой отец – ученый с именем и званиями, но разжалованный Пушкинским Домом в пенсионеры, в 63 года едет в Израиль. Отец выбрал страну, языка и культуры которой он не знал: «... такого плохого представления о том, какая это страна, у нас не было ни об одном уголке земного шара, разве что о Северном полюсе, да и то мы знали, что там лежит лед, а надо льдом вода!» – уже из Иерусалима писал он Е.Г. Эткинду. Однако эта страна была готова предоставить ему тот самый угол кухонного стола, на котором он мог бы работать.

Мы – моя жена и наша пятилетняя дочь – остались. Нам было отказано в выезде, и мы фактически стали заложниками. Несколько месяцев спустя после отъезда родителей моя жена поехала в Москву добиваться пересмотра нашего де-

ла в центральном ОВИРе, и какой-то генерал или полковник злобно шипел на нее, стуча по столу костяшкой согнутого указательного пальца: «Запомните: сгноим, но не выпустим!»

Сгноить не вышло, мы выехали через год, по списку Сайруса Вэнса<sup>5</sup>, а Наташа, воспользовавшись тем, что у нее другая фамилия, пошла в ту самую комиссию в Публичной библиотеке с книгами, запрещенными к вывозу отцу. Чиновница в Публичке посмотрела на корешки книг и, ставя штемпели «Разрешено к вывозу», сказала: «Очень странно, мы все эти книги год назад запретили. Уезжал тут такой профессор, Серман». Наташа без лишних слов забрала книги, и через две недели, после нашего приезда в Израиль, отец получил то, с чем он, наверное, распрощался навсегда.

По приезде в Иерусалим мы увидели, что состояние отца, за которого мы побаивались, резко улучшилось по сравнению с тем, что было перед отъездом. (В дни отъезда он напоминал мне себя же в день смерти его матери, нашей с Ниной бабушки. Он тогда все время что-то делал, суетился, бесцельно ходил по комнатам с абсолютно застывшим, покрасневшим лицом и воспаленными, как он говорил: «от конъюнктивита», глазами.) Отец похудел, загорел и был полон оптимизма. Это правда, что он приехал в Израиль абсолютно

---

<sup>5</sup> Сайрус Вэнс – государственный секретарь США в правительстве президента Картера, во время приезда в Москву в 1977 г. привез список отказников, за которых просил Госдепартамент. Мои родители передали наши имена в Госдепартамент через знакомых американцев.

без денег, без работы, да и в почтенном возрасте. Однако его встретили друзья и коллеги, их усилиями для него была открыта должность на русской кафедре языковедческого факультета Иерусалимского университета. Конечно, и ему, и матери, как и всем, было тяжело приспособиваться к незнакомому образу жизни, языку и климату, и, безусловно, его и мать мучили мысли о нас, тревоги за оставшихся за железным занавесом детей и внучку: «Главная новость – у Марика и Наташи взяли документы! И, может быть, они приедут к нам через месяца два-три. Главная тревога была из-за них» – так пишет отец в письме Е.Г. Эткинду. Но, несмотря ни на что, отец на втором дыхании с присущей ему энергией взялся за работу. Вопреки мрачным прогнозам, отец получил не угол стола на кухне, а кабинет, положение профессора, а самое главное – возможность работы, преподавания, международных связей. За тридцать лет работы в Израиле он написал больше, чем за все предыдущие годы. Он читал лекции в университетах многих стран мира, издавался в Италии, Франции, Канаде, Америке, а потом и снова в России. Там же, в Иерусалиме, отец подготовил этот сборник, собираясь его издать, но не успел, отца не стало, и этот его последний труд стал для всех нас его творческим завещанием. Отсюда и цель издания: выполнить его последнюю волю и постараться сохранить содержание сборника и форму такими, какими он хотел. Чтобы не выходить за рамки композиции авторского сборника, добавлены были только две его

статьи: «Первые тридцать лет» и «Из воспоминаний о себе самом», в надежде на то, что этими дополнениями не только не нарушится общий характер издания, но и подкрепится и упрочится замысел автора. Оба биографических фрагмента печатаются в том виде, в каком они были получены. Они, по-видимому, им не были отредактированы, и поэтому заметна некоторая шероховатость прозы.

«Первые тридцать лет» – одна из глав оставшихся незавершенными «Окололитературных мемуаров» отца. Она была написана в Нью-Йорке ближе к концу жизни, то есть когда все минувшее рассматривается на некотором удалении, в перспективе прошедших лет. Она писалась на Западе в условиях, давших ему большую свободу выражения и естественное освобождение от некоторых внутренних запретов.

«Из воспоминаний о себе самом» – часть этих же мемуаров, дающая трезвую самооценку своего творческого метода, что довольно большая редкость в научных работах.

В основе сборника, как мне кажется, лежит естественное желание ученого в конце жизни дать читателю наиболее полное представление о проделанной за семьдесят лет работе, что-то вроде финального творческого отчета.

С другой стороны, при чтении сборника создается впечатление, что автор этой книгой хотел выйти за пределы истории литературы не только в область литературной критики, которая естественно сосуществует с историей литературы, но и в публицистику, современную политику и, что нема-

ловажно, в область чувств и переживаний.

Мой отец был одним из тех людей, чье прошлое было несомненно богато событиями. Но его внутренняя жизнь была скрыта от окружающих за его уравновешенностью и спокойной и невозмутимой внешностью. В ответах на вопросы личного характера краткость и сдержанность его ответов заводи любопытствующего в тупик и пресекали все последующие попытки это сделать.

На вопрос одного из его коллег о том, как повлияло на него пребывание в исправительно-трудовых лагерях, он отвечал: «Лагерь основательно укрепил мое здоровье. Физическая работа на открытом воздухе – лучшая закалка для организма».

Когда в детстве после урока географии, на котором упоминалась Колыма и климат Заполярья, я с ужасом ребенка, выросшего в Одессе, спросил, было ли ему холодно на Колыме, он сказал: «Да, было холодно, но потом нам выдали трофейное японское обмундирование, куда входили настоящие меховые шапки, закрывающие все лицо до самых глаз».

В сборнике, для которого мой отец неспроста выбрал название «Свободные размышления», мне видится желание выйти за рамки чисто научного подхода и рассказать о «себе самом».

История появления сборника сама по себе интересна, поскольку в его создании участвовало несколько разных людей в разных странах, а также потому, что, как и во всех лите-

ратурных историях, здесь налицо и детективный элемент, о котором ниже. Однако прежде всего мне бы хотелось выразить глубокую благодарность главному редактору издательства «Новое литературное обозрение» Ирине Дмитриевне Прохоровой за проявленные ею интерес и энтузиазм по поводу будущего издания.

Список, а вернее, несколько списков, составленных и несколько раз переработанных отцом, были найдены и сохранены после смерти отца моей сестрой Н.И. Ставиской. Ею же было найдено большинство работ, а некоторые статьи были ею лично целиком перепечатаны с часто слепых, плохо сохранившихся оригиналов.

Моя жена, Н.К. Новохацкая, проделала огромную работу по организации, сканированию и редактированию сборника, подготовке примечаний и прочего аппарата издания. Она же сохранила рукопись «Первых тридцати лет», посланную ей автором после написания.

В работе над сборником большая поддержка и неоценимая помощь были оказаны мне Еленой Довлатовой.

Теперь о детективном элементе. Наступил момент, когда почти все работы были собраны, но не хватало лишь одной, очень важной и интересной, о которой много писал отец в эссе «Из воспоминаний о себе самом», – «Язык мысли и язык жизни в комедиях Фонвизина». Этой статьи не было нигде: ни у меня, ни у моей сестры, ни у оставшихся в живых

коллег отца. Она была и в списке отца, и в библиографии<sup>6</sup>, но номера страниц издания, приведенные в библиографии, указывали на совсем другую статью на английском языке. Единственный человек, которому удалось разгадать загадку «Фонвизина», была Ирина Роскина. Во время очередного поиска она неожиданно наткнулась на «Фонвизина», который по какой-то причине был сверстан вместе с другой статьей на английском языке.

Нельзя также не упомянуть и находку Ирины Казовской – докторантки отца, которая предоставила нам ни больше ни меньше как главу «Из воспоминаний о себе самом», о которой написано выше.

Вклад всех этих людей в создание сборника заслуживает глубокой благодарности и признания.

Судя по тому, в каком состоянии находились незаконченные мемуары и заметки с анализом его собственных работ, мой отец планировал продолжать работать и дальше.

Я надеюсь, что этот сборник, его содержание и сам факт его публикации будут ответом на желание отца высказать свои мысли широкому читателю, а также действием, которое продлит если не его жизнь, то память о нем.

Нью-Йорк, 2013 год

---

<sup>6</sup> Алексеева Н.Ю. Библиография трудов И.З. Сермана (к 90-летию со дня рождения) // XVIII век. СПб., 2004. Сб. 23. С. 371 – 397.

# ВОСПОМИНАНИЯ

## Первые тридцать лет (воспоминания)

Я сам не помню о своем первом преступлении, но тетя Муся (Мария Яковлевна)<sup>7</sup> долго не могла забыть его. Я еще не говорил, видимо, зубы у меня прорезывались. А у тети был кошелек из тонкой телячьей кожи. Он ей очень нравился. Как-то он мне попался, и я его съел, конечно, не целиком, но так изгрыз, что пришлось его выбросить. Тетя мне долго не могла простить такого варварства. Значит, это происходило где-то зимой 1913 – 1914 годов.

В столовой зачем-то передвигали большой буфет. Я, конечно, вертелся под ногами у рабочих, и тут сверху слетела увесистая часть верхней отделки и прямо упала мне на голову, да не плоскостью, а гвоздем, на котором она держалась. Мне было очень больно, с головы капала кровь, но я заплакал тихо и пошел к себе, пока меня не заметил кто-то и не помог. С тех пор я буфет обходил.

А вообще я столовую любил. Это была самая большая и светлая комната в дедушкиной квартире на втором этаже на

---

<sup>7</sup> Мария Яковлевна Аронсон (1894 – 1980) – тетка И.З. Сермана.

Румянцевской улице (переименованной в Советскую) в городе Гомеле. Во главе стола сидел дедушка и читал газету, а я сидел на противоположной стороне стола на высоком стуле и пил какао.

Была еще [пра]бабушка Песя, дедушкина мама. Она меня не любила и не пускала к себе в комнату, дверь которой выходила в столовую, а мне туда очень хотелось зайти именно потому, что она не пускала. Дедушка, Яков Львович Аронсон, был бухгалтером, не знаю, как тогда это называлось, Гомельского отделения Средне-Азиатского банка. Внизу, в первом этаже, помещалась контора банка, а во втором мы жили. В 1917 году дедушку перевели в такую же контору банка в Кишинев, тогда российский город. С дедушкой уехала тетя Муся и мой старший брат Тема<sup>8</sup>, которому тогда было 11 лет.

Никто не предполагал, что скоро Кишинев окажется «за границей» и что с бабушкой и дедушкой мы никогда уже не увидимся. Дедушка еще из Кишинева присылал маме свои статьи на французском языке, но я их тогда не мог прочесть и потому знаю только, что они были философского содержания. В Израиле дедушка выпустил книжку, опять-таки философского содержания, на иврите.

С тетей Мусей и Темой увиделись мы, когда они сначала

---

<sup>8</sup> Артем Александрович Экк (1906 – 1943) – единоутробный брат И.З. Сермана, погиб в ополчении под Ленинградом.

переехали в Берлин, к дяде Грише<sup>9</sup>, и только оттуда к нам – сначала, в 1922 году, тетя Муся в Гомель, а потом, в 1924 или 1925 году, – Тема, уже в Москву. Тогда, когда надо было, как я сейчас понимаю, менять румынский или немецкий паспорт Темы на какое-нибудь советское удостоверение личности (паспортов тогда еще не было!), ему вместо Лейпцига как места рождения поставили Москву, чем спасли от вполне возможных неприятностей.

Возвращаюсь к разрозненным воспоминаниям моего вполне «буржуазного» детства, до 1917 года. Еще есть бабушка Ольга, которую я плохо помню. Она, по-видимому, вела хозяйство. По рассказам ее уже взрослых детей, она отличалась красотой и глупостью. Пыталась заниматься торговлей в Варшаве, но прогорела. Все это поздние и смутные рассказы старших. Что же касается красоты, то она видна и на фотографиях.

Что же я помню: мне два или три года. У меня бонна Эвочка, очень милая молодая женщина, как меня позднее уверяли, я ей говорил: «Эвочка, какая вы прелестная». Не знаю, не было ли это придумано взрослыми.

С Эвочкой мы ходили гулять в недалекий Лермонтовский садик (так он почему-то назывался). У меня есть сабля, ей

---

<sup>9</sup> Григорий Яковлевич Аронсон (1887 – 1967) – известный социал-демократ, активный деятель Бунда (еврейская социалистическая рабочая партия, действовавшая в России, Польше и Литве с 90-х гг. XIX века до 40-х гг. XX века), арестован несколько раз после 1917 г., в 1921 г. выслан в Туркестан, откуда эмигрировал на Запад, умер в Нью-Йорке.

я разрубаю пополам дождевого червя, который мне кажется большой змеею.

Мамы<sup>10</sup> я в это время не помню, наверно, она была, но как естественное содержание жизни не запомнилась. Зато папин<sup>11</sup> приезд запомнился (очевидно, с фронта), он где-то под Ригой служил и позднее так рассказывал о конце войны: «Мы сдали Ригу и разъехались по домам».

Разумеется, я тогда этого не мог бы понять, но семейное предание сохранило будто бы сказанное мною; когда я вошел утром в спальню родителей, то первый мой вопрос к совсем незнакомому мужчине (а это был папа) был таков: «Это ваши сапоги?» Было мне тогда года три, и я вполне мог это сказать, увидев высокие папины сапоги.

Из моих игрушек того времени я помню только большой строительный ящик и саблю, о которой уже писал.

Далее начинаются крепко засевшие в память, но сомнительные по своей временной прикрепленности воспоминания. Так, например, мне кажется, что я помню живого городского на углу Румянцевской и пересекающей ее улицы... Другое воспоминание: по Румянцевской движется толпа, впереди которой идут люди с портретами в руках. Думаю, что это была патриотическая манифестация в связи с нача-

---

<sup>10</sup> Мать И.З. Сермана – Генриетта Яковлевна Аронсон (Векслер) (1885 – 1965), социал-демократ, член Бунда, работник Наркомпроса, ответственный секретарь «Литературного современника».

<sup>11</sup> Отец И.З. Сермана – Зелик Абрамович Серман (1885 – 1965), в Первую мировую войну военный врач, впоследствии практикующий хирург.

лом войны 1914 года, а может быть, с какими-то победами? Не знаю, а расспросить не пришлось.

Видимо, уже 1918 год, мы живем в деревне Иванец под Минском: мама, папа и я. Папа здесь врачует, и платят ему за лечение натурой – птицей и другой живностью, однажды папа в санях привез черного баранчика.

С деревенскими ребятами я дружу, и они подговорили меня отрезать с папиного дождевика блестящие перламутровые пуговицы. Когда это обнаружилось, был большой скандал. Иванец сохраняется в моих воспоминаниях только зимним.

Тут место действия меняется, по-видимому, папу мобилизуют в армию, а мама со мной уезжает в Гомель, где сначала работает в Бунде, а потом вместе с левой частью Бунда вступает в 1920 году в РКП(б). Я тогда этого не понимал, но сообщаю для относительной стройности повествования.

Где-то в это время, но летом я хожу в парк Паскевича<sup>12</sup>, где в прудах плавают лебеди, а возле дворца стоит конная статуя, которой я очень боялся, так как смотреть на нее я мог только снизу. Как я узнал позднее, это был памятник Понятовскому<sup>13</sup>, переданный Польше по Рижскому мирному договору<sup>14</sup> в 1920 году. Я хожу в детский сад, именно хожу,

---

<sup>12</sup> Иван Федорович Паскевич (1782 – 1856) – знаменитый русский генерал, подавивший восстание в Польше в 1831 г.

<sup>13</sup> Памятник князю Юзефу Понятовскому (1763 – 1813), польскому князю и генералу, маршалу Франции, работы датского скульптора Бертеля Торвальдсена.

<sup>14</sup> В действительности Рижский мирный договор был подписан 18 марта 1921 г. в Риге и завершил советско-польскую войну (1919 – 1921).

потому что никакого транспорта в городе нету, а детский сад расположен на Замковой улице, далеко от нас.

Мне шесть лет, у меня валенки с прохудившимися подметками. Чтобы я не так страдал от холода, мама ведет меня за руку в детский сад через весь город и читает мне «Крокодила» Чуковского; а в детском саду кормят очень вкусной маисовой кашей. И я знаю, что эту кашу дает нам Ара<sup>15</sup> – расшифровки я не знаю, но знаю, что это какая-то американская организация. А каша очень вкусная и долго помнится, как и само название – маис.

Не помню, как и почему, но мы втроем в Киеве – папа, мама и я. Папа – главный врач военного госпиталя, идет война с поляками. Тут я впервые увидел на улице танки. Живем мы на Фундуклеевской, в гостинице, недалеко от оперного театра, [куда] папа меня брал с собой, но очень мало запомнилось. Понравилась только «Вальпургиева ночь». И тут, по-видимому, мама уехала в Гомель, а мне папа сказал, что она нас бросила. Я огорчился и заплакал...

Потом помню, что мы плывем из Киева на барже к Чернигову, где пересаживаемся в поезд и едем в Ромны, там живем в вагоне на станции. Там я уже умею читать. Читаю сказки Пушкина и рисую. На большом листе плотной ватмановской бумаги я нарисовал различные виды средневекового оружия и послал маме с таким заголовком: «Разное оружие для ма-

---

<sup>15</sup> АРА (сокращение от American Relief Administration) – американская правительственная организация помощи пострадавшим.

мы». Потом мне часто припоминали это название.

Еще помню, что у меня была шинель под мой рост и буденовка, которой я особенно гордился. Есть фотография – я с папой, оба в шинелях и в буденовках. Буденовки – это шапки особого образца. Их каждый может увидеть в кино, в фильмах о Гражданской войне. В Ромнах мы жили недели две в вагоне, где было очень удобно, а до этого, по приезде, мы жили в станционном помещении, и я спал на большом столе, покрытом чем-то зеленым, вероятно, сукном. Я в Ромнах не скучал, хотя папы не видал весь день и практически был один. Но так как наш поезд стоял на станции, то непрерывно двигались составы, раздавались сигнальные гудки – словом, шла своя, очень мне интересная жизнь. Поэтому я не скучал. Сколько мы там прожили и как вернулись в Киев, а может быть, меня переправили в Гомель к маме, – не помню. Тут в моих воспоминаниях неизбежная путаница из-за того, что родители мною перебрасывались, как мячом.

Почему-то Киев мне помнится только летним. Я живу с папой на самой окраине города, куда даже трамвай не доходит. Это Лукьяновка, а живем мы в первой городской больнице, бывшей Еврейской, построенной Бродским<sup>16</sup>. Огромная территория, множество корпусов, все в зелени, роскошный простор для игр, особенно в сыщиков и разбойников.

---

<sup>16</sup> Больница была основана «для неимущих евреев» по ходатайству княгини Васильчиковой в 1862 г. и расширена на средства мецената Бродского в 1883 и 1885 гг.

Мы живем с папой, которого я почти не вижу; сначала он главный врач, потом присылают главврачом коммуниста – Вельского, а папа становится заместителем. У Вельского – дочка, мы с ней дружим, а вообще в играх участвует огромное количество детей медперсонала. Одно из мест наших игр – зады больницы. Они выходят к Бабьему Яру<sup>17</sup> – тому самому, который стал знаменит в войну 1941 года.

Рядом с домом, где я живу с папой, – огород, где так приятно рвать еще теплые помидоры, а возле кухни стоит бочка, в которой плавают малосольные огурцы. Мне 10 – 11 лет, и я влюблен, но не в девочку, а во взрослого мальчика, ему 14 лет, его зовут Женя, а фамилия у него Рута. Мать его – санитарка. Чем он меня обаял, не знаю, только помню, что я замирал от счастья, когда его видел, а он принимал мое обожание спокойно.

Возраст детворы, участвовавшей в играх, простирался от 10 до 15, но никаких элементов эротизма не наблюдалось в отношениях, хотя девочки попроще не носили нижнего белья и, шутя, говорили: «Ты что, у меня кино увидел?»

В «город», то есть в центр, я попадал редко и знал его плохо. Правда, у меня появились знакомые мальчишки по школе, некоторые жили в центре, и я помню здание горсовета (бывшей городской Думы), с балкона которой говорил о чем-то

---

<sup>17</sup> Бабий Яр – урочище в северо-западной части Киева, место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, караимов, а также советских военнопленных немецкими оккупационными войсками в 1941 г.

речь Гамарник<sup>18</sup>; может быть, это был первомайский праздник. Речь я не запомнил, но удивил он меня большой бородой.

До того события (о котором расскажу позднее) я был вполне советским ребенком, без каких-либо сомнений политического содержания. В январе 1924 года, когда мама, бывшая тогда директором школы в Гомеле, где я учился, нам, собранным в актовом зале, объявила о смерти Ленина, я искренне заплакал, хотя вообще-то не был плаксивым ребенком.

Помню приезд тети Муси (Марии Яковлевны) из Германии, где она изголодалась и приехала страшно исхудавшей. Помню, что меня удивили ее рассказы о том, что «gute Butter», то есть нормальное масло, было совершенно недоступно. Опять-таки я не заинтересовался, почему немцы голодают, хотя помнил рассказы мамы о Германии 1906 – 1912 годов. Она жаловалась, что еда немецкая невкусна, суп, например, делали сладкий... Но никакого намека на голод не было.

Тогда же по дороге из школы я прочел на стенде в «Рабочей газете» «Соль» Бабеля, был поражен силой таланта и совершенно не усомнился в правомерности поведения героя рассказа.

---

<sup>18</sup> Ян Борисович Гамарник (Пудикович) (1894 – 1937) – советский военачальник, государственный и партийный деятель. Застрелился накануне неминуемого ареста по делу Тухачевского.

Не могу сказать, что всем лучшим в себе я обязан анекдоту, но я убежден, что именно анекдот был моей школой скептицизма и свободомыслия. Первое знакомство с политическими анекдотами началось в 1926 – 1927 годах. Отец привез меня на зимние каникулы 1925/26 учебного года из Киева в Москву с тем, чтобы я вернулся к нему. Уехав в Киев, он оттуда написал маме, что не хочет моего возвращения. Не помню точно, чем это мотивировалось, меня это не занимало, я привык к смене родительских домов и городов, а Москва мне была интересна.

В Москве, во всяком случае, партийная или околопартийная интеллигенция жила в это время той борьбой, которая шла в партии и отголоски которой я помню – например, номера «Ленинградской правды» в газетных киосках Москвы 1927 года, так как «Ленинградская правда» оказалась рупором т.н. Ленинградской оппозиции (Зиновьев – Каменев). 7 ноября 1927 года я не ходил на демонстрацию, но бродил по городу и в середине дня попал на Моховую, где под одним из балконов толклись прохожие и кто-то объяснял, что с балкона говорили речи и ораторов закидали калошами. Уже дома мне сказали, что будто бы это были троцкисты, пытавшиеся устроить свою контрдемонстрацию. Эти внешние и как будто разрозненные факты прекрасно укладывались в разговоры взрослых, которые не считали нужным при мне молчать о внутрипартийной борьбе. Она тогда еще частично отражалась и в газетах, то есть была вполне легальной темой. О

том, что происходило в Московском университете и других учебных заведениях, рассказывал мой старший брат Тема. Он учился на киноотделении этнологического факультета, то есть изучал историю и теорию кино, которое к этому времени уже потребовало теоретического осмысления. Брат не жил дома, и потому каждый его приход приносил информацию о листовках, дискуссиях, голосованиях и, конечно, анекдоты. Все это кипение внутрипартийных страстей мне было интересно, но не очень понятно, и потому в подробностях не запомнилось. Зато анекдоты запомнились, поскольку они циклизировались вокруг хорошо известных имен, главным образом Сталина и Троцкого. Некоторые из них я сохранил в своей памяти и не старался забыть тогда, когда политический анекдот был официально объявлен «антисоветской пропагандой». Вот один из них: Сталин и Троцкий спорят. Каждый из них обвиняет другого в том, что тот «не согласен с Лениным». Наконец, Троцкий прекращает спор, выходит из кабинета и за дверью говорит: «Действительно, в одном я не согласен с Лениным, не каждая кухарка может управлять государством».

А вот другой анекдот, видимо более старый, но приуроченный к ситуации: в Москву из Бердичева или Орши, то есть из городов с преобладанием евреев, приезжает очень старый и очень мудрый ребе. Узнав о его приезде, советское правительство приглашает его в Кремль на заседание Совнаркома, где его просят указать выход из того трудного по-

ложения, в котором оно, правительство, находится. Ребе отвечает: «По-моему, есть три выхода – Троицкие, Спасские и Боровицкие ворота». То есть мудрый ребе предлагал совсем уйти из Кремля – отказаться от власти.

Были и другие анекдоты, не так непосредственно отражающие внутрипартийную борьбу, но в них чувствуется еще не унифицированное сознание. Таков анекдот о конгрессах Коминтерна. Вопрос: «Почему на очередном конгрессе не было представителей от папуасов Новой Гвинеи?» Ответ: «Какой еврей согласится продеть себе в нос кольцо?»

Были анекдоты, в которых фигурировала Н.К. Крупская, пытавшаяся играть какую-то роль (примирительную) во внутрипартийной борьбе: Сталин вызывает к себе Крупскую и говорит ей: «Если вы не перестанете вмешиваться в то, что вас не касается, я назначу вдовой Ленина Землячку<sup>19</sup>». Дополнительная ирония этого анекдота в том, что если Крупская никогда не обладала привлекательной внешностью, то Землячка славилась своим безобразием.

Эпоха расцвета политического анекдота, так мне кажется, кончилась где-то к 1929 году, когда один за другим последовали большие политические процессы – Шахтинское дело<sup>20</sup>, процесс Промпартии<sup>21</sup>, Московского бюро больше-

---

<sup>19</sup> Розалия Самойловна Землячка (1876 – 1947) – российская революционерка, советский партийный и государственный деятель. Прославилась своей жестокостью по отношению к пленным белым офицерам и солдатам.

<sup>20</sup> Дело по обвинению во вредительстве и саботаже большой группы руководителей и специалистов угольной промышленности в Шахтинском районе Донбас-

виков<sup>22</sup>. Последний процесс происходил уже в 1930 году, и вдруг оказалось, что на нем обвиняемые – это мои знакомые! Вернее, родители моих соучеников по 44-й школе БО-НО (Бауманского района Москвы). Раньше школа эта называлась 14-й Центросоюзской, так как Центросоюз давал на нее деньги и в ней учились дети его служащих. Одна девочка, Ева Басова, училась со мной в 6-м и 7-м классах, ее отец был в числе обвиняемых. Был там и Петрунин – отец Оли Петруниной, которая училась в параллельном классе.

Отчеты о политических процессах, о которых я говорю, печатались тогда в газетах, а я начал читать газеты в 1923 году и долго не мог отстать от этой привычки. Евы Басовой в 1930 году у нас уже не было, она после 7-го класса куда-то ушла. Я был у нее два дома (они жили в Замоскворечье, на Пятницкой) и видел издали ее отца, который со мной поздоровался и ушел в свою комнату, может быть, он сидел за общим столом с нами. Во всяком случае, у них была отдельная квартира.

Увидеть знакомую фамилию в судебном отчете было очень странно. Из текста этого отчета трудно было понять, обвиняются ли подсудимые в том, что чем-то или в чем-то вредили, или вся их вина в том, что они сохранили какие-то

---

са, 1928 г.

<sup>21</sup> Крупный судебный процесс по делу о вредительстве – 25 ноября – 7 декабря 1930 г.

<sup>22</sup> Имеется в виду процесс «Союзного бюро ЦК меньшевиков» 1930 г.

связи с меньшевиками в эмиграции. Центральной фигурой на процессе был Громан<sup>23</sup>, видный экономист, в прошлом – меньшевик. С его фамилией, которую до процесса я не знал, связана перемена моего отношения к политическим процессам.

Я часто бывал в доме маминых знакомых, Вайнбергов, иногда ночевал у них. Глава семьи, юрист, где-то служил юрисконсультom и был копией карикатурных буржуев: высокий, с большим животом, лысый и потому бритоголовый. За общим ужиным столом глава семьи, Абрам Нилович, сказал своему собеседнику: «*Ставят* процесс Громана». Нажима на слово «ставят» не было никакого; может быть, поэтому оно меня так поразило своей деловитостью, будничностью. Глагол «ставить» в переносном смысле обычно употреблялся (тогда, да и сейчас) применительно к театральным «постановкам». Ироническое его употребление как-то вдруг объяснило мне, зачем нужен этот процесс и для чего его затеяли.

Тогда, в этом процессе 1930 года, была хотя бы видимость правдоподобия: меньшевики ведь действительно были врагами советского строя, и можно было предположить, что они эту борьбу продолжают... Но из самого процесса, то есть из стенографического отчета, ничего этого видно не было, а тут

---

<sup>23</sup> Владимир Густавович Громан (Горн) (1874 – 1940) – статистик, член Президиума Госплана СССР, член коллегии ЦСУ РСФСР. Осужден на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Верхнеуральском политизоляторе, затем в Суздальском ИТЛ, где и умер 11 марта 1940 г.

еще это словечко «ставят» и знакомые мне по школе имена центросоюзовских работников...

В отличие от старших, основное, что нас интересовало, была литература, вернее поэзия. В ней была наша – тех, кого она занимала, – внутренняя жизнь, а политика была чем-то внешним, делом старших, нас не касающимся. Поэтому я и назвал свои отрывочные воспоминания околотитературными. Дело в том, что я был читателем, и заинтересованным читателем. Сам я стихов никогда не писал, но живые, только что появившиеся стихи входили в сознание и переживались очень интенсивно.

Началось мое активное участие в литературе по двум направлениям. Об одном вспоминаю не без стыда – я сделал у нас, в седьмом классе, нечто вроде изложения – реферата книги Переверзева<sup>24</sup> «Творчество Гоголя», в которой автор, как тогда казалось не только мне, с блеском доказал мелкопоместную природу творчества Гоголя.

Не знаю, как терпела эту схоластику наша любимая словесница Анна Ивановна. Знаю только, что года через два она от работы в школе отказалась: «Я воспитана на Блоке, – говорила она, – а то, что происходит в школьных программах, мне не нравится». Анна Ивановна была старинная московская жительница, замужем никогда не была. Жила она с бра-

---

<sup>24</sup> Валерьян Федорович Переверзев (1882 – 1968) – советский литературовед, основатель одного из направлений марксистского литературоведения. «Творчество Гоголя», 1914 г.

том и сестрой в уютном небольшом особнячке, которых в 1920-е годы еще много сохранялось в Москве. Позднее, в 1930-е годы, этот особнячок понравился какому-то важному чину из НКВД, и всех его обитателей выслали из Москвы куда-то далеко, слава Богу, не в лагерь. Потом они вернулись, но уже в другую квартиру.

У нас, в седьмых классах, где в основном учились 14 – 15-летние, возникла идея литературного кружка для обсуждения новинок литературы. Такой новинкой оказалась комедия Безыменского «Выстрел»<sup>25</sup>, где, как запомнилось, было две удачных фигуры, две партийные тети, одна из которых так и называлась: парттетя Мотя. Больше ничего об этой пьесе не помню.

Теперь перехожу к поэтическим впечатлениям: подосновой отношения к современной поэзии был Есенин. Почему-то то, что сейчас кажется нисколько не трогающим и даже слабым, тогда находило самый глубокий, самый сердечный отклик. И ведь до сих пор помню: «по тому ль по утреннему свею, по тому ль песку, поведут меня с веревкою на шее полюбить тоску»...

Может быть, помогала официальная борьба с «есенинщиной», в которой особенно усердствовала «Комсомольская правда», где – не совсем кстати, но вспомнилось – совершенно всерьез писалось, что совместное спанье супругов в

---

<sup>25</sup> Александр Ильич Безыменский (1918 – 1958) – советский поэт. «Выстрел» – пьеса в стихах, 1929 г.

одной кровати понижает производительность труда на 8 %! Практически этот рецепт нас не касался, но запомнился своей неожиданностью.

Есенинство поддерживалось дружбой с Сережей Сверченко, красивым и очень под Есенина себя державшим. Опять-таки некстати вспомнился рассказ Сережин – его родной дядя, будучи в командировке в Берлине (от кого и зачем – как-то это не спрашивалось), увидел в витрине книжного магазина книгу о расстреле царской семьи и себя на одной из фотографий...

Дома был четырехтомник Есенина с белой обложкой, на которой были нарисованы изящные березки. До сих пор помню эти березки. С Есениным и связано мое первое знакомство с поэзией, «презревшей печать». Сеня Скоблов, мой друг и соученик, показал мне переписанное от руки фиолетовыми чернилами на листке бумаги, вырванном из клетчатой школьной тетрадки, стихотворное «Письмо к Демьяну Бедному». В этом «Письме», в довольно посредственных стихах, Демьяна осуждали за оскорбление Христа в его антирелигиозных поэмах. «Письмо к Демьяну Бедному» мне не понравилось и не запомнилось, не знаю, принадлежало ли оно действительно Есенину. Уже в шестидесятых годах, когда Есенин получил, наконец, официальное признание, я спрашивал у специалистов об этом «Письме». Они отрицали его принадлежность Есенину, но сомнения у меня остались до сих пор, ибо Демьян сейчас тоже вполне официально

признан, гонения на него давно забыты, и признание этого «Письма» есенинским очень осложнило бы работу составителей собрания сочинений. Так мне казалось в семидесятые годы.

Началось увлечение Багрицким, его книжкой «Юго-Запад». Эта поэзия открывала другой мир – мир веселья, красоты, героики, хотя бы и контрабандистской. «От черного хлеба...» внушало какое-то не вполне осознанное чувство тревоги, непрочности жизни и на фоне Жаровых и Безыменских звучало торжественно и мажорно. А Жаров со своим первым томом «Собрания сочинений» просто смешил.

Вслед за Багрицким, как бы устремляясь за новизной, увлекся я конструктивизмом, и особенно Сельвинским, его стихами, а не поэмами, над которыми я откровенно скучал, но относился уважительно. А нравилась мне «Песня о ветре» Луговского, менее конструктивная, но чем-то, каким-то лиризмом, в ней скрытым, действовавшая больше, чем невыносимо длинный «Пушторг». Вечер конструктивистов в 1929 году в Политехническом кончился скандалом. Сначала все было очень хорошо: выступали Сельвинский со своими полустихами-полупеснями, затем Луговской с «Песней о ветре», затем кто-то еще, но когда Адуев стал читать «Письмо Маяковскому», где кроме всяческих пасквильных строк была и такая: «а вы хотите, чтоб вам приплатили», – на сцену из зала бросились агрессивно настроенные молодые люди, завязалась нешуточная драка, и вечер Сельвинский прекра-

тил. Я тогда был очень возмущен поведением сторонников Маяковского.

Много десятков лет спустя, когда мне понадобилось писать для фаяировской истории литературы<sup>26</sup> 1930 год, я стал просматривать «Литературную газету» за 1929 год. В скупой хронике об этом вечере – ни слова о скандале и срыве...

Предупреждаю, что с трудом буду держаться хронологии событий, а буду излагать так, как они остались в памяти.

Зима 1930 года была лютая. Во время зимних каникул, то есть в феврале, я прочел в «Литературной газете» о том, что РАПП<sup>27</sup>, в который в то время вошли и Маяковский, и Багрицкий, проводит поэтическую конференцию. Поскольку делать было особенно нечего, а вход был как будто объявлен свободным, я и отправился на улицу Воровского, 22, где это происходило. К моему удивлению, под заседание была отведена небольшая комната, и было, как мне показалось, вопреки ожиданиям, мало народу. Я больше смотрел, чем слушал. В первый и последний раз увидел Авербаха<sup>28</sup>, который меня удивил своей полувоенной одеждой (позднее я узнал, что она называлась «вождевкой») и неприятным скрипучим голосом. Смотрел я с интересом на Сельвинского: меня удивило, что он был в валенках. Но больше всего меня

---

<sup>26</sup> Имеется в виду «История русской литературы», опубликованная во Франции по-французски в издательстве «Файяр». Первый том вышел в 1996 г.

<sup>27</sup> РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей (1925 – 1932).

<sup>28</sup> Леопольд Леонидович Авербах (1903 – 1937) – советский критик.

обрадовало появление Багрицкого, любимого с «Юго-Запада» (1928) поэта, читанного и перечитанного неоднократно. Как сейчас помню «Контрабандистов», «От черного хлеба...», «Птицелова». Эти стихи погружали в прекрасный и веселый мир, которого не хватало в жизни.

Жилось трудно, маму уволили из Наркомпроса по сокращению штатов. С 1929 года все стало по карточкам. Только соевую колбасу (!! ) можно было (и то не уверен) купить без карточек. Мама как-то ухитрилась ее жарить на постном масле, и она становилась съедобной.

Так вот, в перерыв, а я сидел недалеко от Багрицкого, он меня спросил: «Вы пишете?» Я сказал: «Нет», и тогда он спросил, зачем я пришел на это совещание. Я сказал, что мне просто было интересно. Он удивился, но промолчал. А по поводу чьих-то прочитанных стихов повторил, видимо, привычную шутку: «Это уж поэзия».

14 апреля 1930 года на одной из школьных перемен мы узнали о самоубийстве Маяковского – и не поверили... Решили поехать на Воровского, 22 (бывшая Поварская), чтобы проверить. Поехали, кажется, втроем. Там, конечно, эту новость нам подтвердили. Прощаться с телом мы пошли, но на похоронах не были. Незадолго до этой страшной и непостижимой новости я был на выставке Маяковского (в феврале 1930-го) «Двадцать лет работы», было довольно много посетителей. Появился Маяковский, с виду чем-то недобольный. Его просили читать, он нехотя согласился и прочел

«Во весь голос». Скажу честно, что я не готов был со слуха понять и оценить эти стихи. Само же самоубийство Маяковского, как и тогда, остается именно непостижимым и необъяснимым.

В восьмом классе (1929/30 учебный год) я стал жертвой школьной реформы, о которой сейчас немногие помнят. По инициативе ЦК комсомола, которой долго, но успешно сопротивлялся до своей отставки в 1929 году Луначарский, было решено старшие классы, начиная с восьмого, превратить в спецкурсы с различным, предпочтительно с математико-техническим, уклоном. Наша школа на некоторое время спаслась: для нее выбрали книжный, вернее книготорговый, уклон. Нам читали историю книги – и это было интересно, но, что уже мне совсем не понравилось, надо было проходить практику в книжных магазинах. Занятие скучное и почему-то неприятное.

И тут я совершил первое в своей жизни, как это тогда называлось, «правонарушение». В витрине магазина была выставлена очень заманчивая книга – «Мандельштам. Стихотворения. 1928». Они долго стояли, никто их не спрашивал, да и цена была очень большая по тому времени – 2 рубля! Мы жили на 50 рублей в месяц. Купить не было никакой возможности, и я украл – и не раскаиваюсь, столько радости на всю жизнь! Я взял тот экземпляр, который был на полке. В витрине еще долго стояла невостребованная книжка...

С неудовольствием вспоминаю, как нас послали в ноябрь-

ские праздники 1930 года торговать на улице какими-то пропагандистскими книжками. Я чувствовал себя так неловко, так неумело, что не продал ни одной брошюры, пришел с ними домой, и мама помогла что-то продать среди соседей... До сих пор с конфузом вспоминаю это первое поражение в мире практики, а не литературы.

Где-то в седьмом классе я познакомился с Фридой Вигдоровой<sup>29</sup>. Тогда это знакомство не перешло в дружбу, но, в свою очередь, познакомило меня с Мироном Бендером, очень тогда стопроцентным комсомольцем. Позднее, когда я сдружился с Шурой Раскиным<sup>30</sup>, он был влюблен в Беллу Левандовскую, приезжую из Сибири, с литературными интересами. Белле негде было жить, и тогда Мирон предложил ей фиктивный брак и совместное жилье, которое он получил в ФЗУ. Естественно, что фиктивный брак стал фактическим, а Белла оказалась беременной. По слухам, ребенок был от Севы Иорданского, о котором расскажу уже теперь, хотя все это происходило уже после моего отъезда из Москвы. Сева был очень хорош собой, имел большой успех у девочек, был способным журналистом. Через него Шура познакомилась с Морисом Слободским<sup>31</sup>, тогда только начинав-

---

<sup>29</sup> Фрида Абрамовна Вигдорова (1915 – 1965) – советская писательница и журналистка, жена писателя А.Б. Раскина. Близкий друг семьи Серман.

<sup>30</sup> Александр Борисович Раскин (1914 – 1971) – советский писатель, сценарист, муж писательницы Ф.А. Вигдоровой. Близкий друг семьи Серман.

<sup>31</sup> Морис Романович Слободской (1913 – 1991) – русский советский прозаик, драматург, сценарист.

шим журналистскую карьеру под руководством Севы. Но об этом скажу позже.

В это время наш девятый класс (1930/31 учебный год) решили слить с книготорговым, в просторечии «книжным» техникумом. Не помню, где он помещался, но предметы там были интересны и слушатели живые, так что эту перемену я принял спокойно.

Однажды, чуть ли не в середине лекции, открылась дверь и преподаватель ввел юношу в черной толстовке (такой тогда был ходовой наряд), в очках, немножко птичьей внешности, и сказал: «Это будет ваш товарищ, Шура Раскин». На перемене я как-то легко разговорился с новичком и выяснил, что он вместо того, чтобы ходить на занятия, играет в пинг-понг (тогда началось повальное увлечение этой новой игрой), но не просто играет, развлекается домашним образом, а играет вторым номером за команду журнала «Огонек». Журнал тогда редактировал Михаил Кольцов<sup>32</sup>, редактор талантливый и изобретательный. Он ввел впервые на страницах журнала «Викторину» – серию вопросов, ответы на которые печатались в следующем номере. Я каждый понедельник покупал новый журнал, и мы в седьмом классе соединенными усилиями искали ответов. Не помню, конечно, вопросов, кроме одного, почему-то особенно нас затруднившего: «Какого цвета новорожденный негр?» По смыслу вопроса было ясно,

---

<sup>32</sup> Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд, псевдоним в Испании – Мигель Мартинес; 1898 – 1940) – советский публицист, журналист, писатель.

что не черного, но какого, мы, то есть наш класс, так и не решили.

Так вот, за команду этого прославленного журнала играл Шура, с которым мы подружились не на почве пинг-понга, а на любви к поэзии. Пленил меня Шура своим замечательным и непосредственным остроумием. Остроты у него появлялись мгновенно и всегда к делу. Запомнилась почему-то одна из оброненных им острот при взгляде на пару полных людей, явление тогда редкое: «родство туш», – сказал про них Шура. Я привел его к нам домой, он очень понравился маме, которая быстро поняла, что у него семейная неурядица, и сделала то, что она делала всю жизнь, – прежде всего его накормила!

Я побывал дома у Шуры, познакомился с его мамой, Ольгой Львовной, вторично разведенной и соответственно недовольной жизнью и поведением Шуры, которому она справедливо ставила в пример его младшего брата, отличника, дядю Витю<sup>33</sup>, как он позднее фигурировал в общесемейных воспоминаниях. Дружба с Шурой стала одной из магистральных линий наших отношений, несмотря на отъезд из Москвы в Ленинград весной 1931 года.

Причиной отъезда был переход отчима<sup>34</sup> из инспекторов

---

<sup>33</sup> Виктор Борисович Раскин (1917 – 1990) – брат А.Б. Раскина (см. примечание 24).

<sup>34</sup> Иван Иванович Векслер (1885 – 1954) – литературовед, специалист по творчеству А.Н. Толстого, отчим И.З. Сермана.

Наркомпроса в аспирантуру Пушкинского Дома, которую тогда возглавлял Луначарский, раз в месяц приезжавший в Ленинград и беседовавший со своими многочисленными аспирантами.

Так кончилось мое пятилетие московской жизни. Театральные воспоминания – это то немногое, что сохранилось в памяти, но что очень трудно передать. Родителям я завидовал, так как они видели больше меня. Они восторгались «Горячим сердцем»<sup>35</sup> во МХАТе с Москвиным<sup>36</sup>, и с особенным восторгом пришли после «Багрового острова»<sup>37</sup> в Камерном. Часто они ходили в Еврейский театр<sup>38</sup>, куда меня взяли на спектакль «Колдунья»<sup>39</sup>. Из него запомнился мужчина, очень весело игравший главную роль<sup>40</sup>.

Мне родители купили абонемент на утренники, и я ходил на все эти абонементные спектакли один, поскольку дело было днем – в воскресенье. В Малом театре я видел толь-

---

<sup>35</sup> Комедия А.Н. Островского в постановке К.С. Станиславского.

<sup>36</sup> Иван Михайлович Москвин (1874 – 1946) – всемирно известный, прославленный актер МХАТа.

<sup>37</sup> Пьеса была поставлена впервые 11 декабря 1928 г. в Камерном театре. Текст пьесы при жизни Булгакова издан не был.

<sup>38</sup> Еврейский театр был основан в 1920 г. и закрыт в 1949 г. в результате антисемитской кампании репрессий со стороны властей. Художественными руководителями являлись в разное время А.М. Грановский и С.М. Михоэлс.

<sup>39</sup> «Колдунья» – пьеса еврейского поэта и драматурга А. Гольдфадена (1840 – 1908).

<sup>40</sup> Главную роль играл актер еврейского театра Макс Шнеерович Рыбальский.

ко «Любовь Яровую»<sup>41</sup>, где запомнился актер, кажется, Кузнецов<sup>42</sup>, игравший матроса Швандю – характерную, комическую роль.

Были исключения: в театр Вахтангова я попал на вечерние спектакли, уже не помню, как и почему. Я видел «Турандот»<sup>43</sup> во всем блеске тогда еще сравнительно свежего спектакля. Поразило начало – когда на глазах у зрителей под негромкую музыку вся труппа из каких-то цветных тряпочек и шарфов создает себе замечательные и очень убедительные условно-восточные костюмы. Это не был танец в полном смысле, но какое-то ритмизированное общее движение. Запомнилась Мансурова<sup>44</sup> со своим глубоким голосом и Завадский<sup>45</sup> – Калаф – строгий красавец, сбрасывавший в самый патетический момент какую-то обувь.

Другой спектакль у вахтанговцев был «Коварство и любовь»<sup>46</sup> – все происходило на фоне поставленного с накло-

---

<sup>41</sup> «Любовь Яровая» – пьеса К.А. Тренева в постановке режиссера И.С. Платона.

<sup>42</sup> Степан Леонидович Кузнецов (1879 – 1932) – российский и советский театральный актер.

<sup>43</sup> Последний прижизненный спектакль Е. Вахтангова, поставленный им в 1922 г.

<sup>44</sup> Цецилия Львовна Мансурова (Воллерштейн) (1896 – 1976) – актриса, педагог.

<sup>45</sup> Юрий Александрович Завадский (1894 – 1977) – советский актер и режиссер, педагог.

<sup>46</sup> Пьеса Ф. Шиллера в постановке и оформлении Н.П. Акимова.

ном серебряного пола. Было необыкновенно красиво, но как-то безжизненно, высокопарно, и никакого сочувствия к страданиям персонажей не вызывало, хотя решетка дворца помнится до сих пор – ведь все это сделал Акимов<sup>47</sup>. И леди Мильфорд – коварная англичанка (постоянный персонаж немецкой драмы того времени) была очень эффектна...

Больше всего я перевидал в театре Мейерхольда<sup>48</sup>. Понравился «Лес», особенно когда Аркашка-Ильинский<sup>49</sup> ловил воображаемую рыбу... Не понял, честно скажу, и потому не запомнил мейерхольдовского «Ревизора», а из «Горя уму» (так переименовал грибоедовскую комедию режиссер) запомнились два эпизода: разговор на равных Гарина<sup>50</sup> (Чацкий) и Царева<sup>51</sup> (Молчалин). Оба во фраках, оба говорили, опираясь небрежно на створки калитки. Но главное – это был спор, а не высокомерное отношение одного к другому. Что больше всего поразило – это идея посадить всех, кро-

---

<sup>47</sup> Николай Павлович Акимов (1901 – 1968) – советский театральный режиссер, театральный художник, живописец и книжный график.

<sup>48</sup> Всеволод Эмильевич Мейерхольд (Карл Казимир Теодор Майергольд; 1874 – 1940) – русский советский театральный режиссер, актер и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, создатель знаменитой актерской системы, получившей название «биомеханика».

<sup>49</sup> Игорь Владимирович Ильинский (1901 – 1987) – советский актер, режиссер театра и кино.

<sup>50</sup> Эраст Павлович Гарин (Герасимов) (1902 – 1980) – советский актер, режиссер театра и кино.

<sup>51</sup> Михаил Иванович Царев (1903 – 1987) – советский актер театра и кино, театральный режиссер.

ме Чацкого, за длинный стол параллельно рампе и заставить перебрасываться репликами клеветы через головы сидящих рядом. Много позднее я предположил, что Мейерхольд, много раз бывавший в Италии, воспроизвел в этой сцене «Тайную вечерю» Леонардо, но как-то руки не дошли проверить это предположение.

Понравился «Клоп», особенно Ильинский-Присыпкин, в тех действиях, которые происходили в современности. Очень удивило «будущее», то есть 1979 год, его изображали не то двадцать, не то тридцать молодых девушек в униформах, что-то отплясывавших...

Но, конечно, главное, оставшееся на всю жизнь впечатление, – это «Дни Турбиных», где-то в сезон 1926/27 года. Как я на них попал? Я дружил в седьмом классе с очень живым, веселым и приятным мальчиком Арнольдом Шапиро (погиб на войне!). У его отца была частная фотография, потом превращенная в кооперативную. Дом был веселый, а по вечерам можно было собираться в главном салоне, когда он пустовал. В этой фотографии снимался пожарник из МХАТа. Старший Шапиро попросил пожарника, и он провел двух мальчиков, уже когда спектакль начался, и велел нам посидеть на ступеньках. Так мы все видели и многое запомнили. Особенно Лариосика. И когда позднее я видел Яншина<sup>52</sup>, то не мог ему простить его непомерной толщины.

---

<sup>52</sup> Михаил Михайлович Яншин (1902 – 1976) – советский актер театра и кино, режиссер.

В «Днях Турбиных» поражала полная достоверность того, что происходило на сцене. Вернее, это происходило не на сцене, а в жизни и иначе быть не могло. Запомнился Шервинский, немецкие офицеры, гетман со своей импозантной фигурой, сцена в штабе петлюровцев: как один из них, приблизив сапоги к телефону, кричал собеседнику: «Бачь, яки сапоги!»

Во втором МХАТе<sup>53</sup> я видел «Блоху»<sup>54</sup> по Лескову – чудное условно-кукольное представление; «Сверчок на печи»<sup>55</sup>, от которого осталось только впечатление чего-то необыкновенно милого и утешительного. Зато «Петр I»<sup>56</sup> в том же театре, еще не переработанный по высочайшему указанию, был интересен и страшен. Актер, игравший Петра, кажется, Горюнов<sup>57</sup>, так появлялся, что всегда оказывался на голову выше всех остальных актеров. Очень запомнилась сцена всешутейшего пьяного собора и особенно финальная сцена: Петр – один, волны наводнения подкатываются к его ногам, и впечатление неминуемой гибели города.

---

<sup>53</sup> Драматический театр в Москве (1924 – 1936), до 1928 г. под руководством актера и режиссера Михаила Чехова (1891 – 1955).

<sup>54</sup> Режиссер постановки А. Дикий (1889 – 1955), художник Б.М. Кустодиев (1878 – 1927).

<sup>55</sup> Инсценировка по Ч. Диккенсу, режиссер Борис Михайлович Сушкевич (1887 – 1946).

<sup>56</sup> Пьеса А.Н. Толстого, режиссер Б.М. Сушкевич.

<sup>57</sup> Петра играл актер Владимир Васильевич Готовцев (1885 – 1976).

Особое впечатление на меня произвела Бабанова<sup>58</sup>. У Мейерхольда она играла в драме Третьякова<sup>59</sup> «Рычи Китай» мальчика-китайчонка, который, уж не помню почему, решает повеситься и делает это на глазах у зрителей, но предвзвительно поет песенку, такую трогательную, такую щемящую... Это все, что запомнилось, а многое уже стерлось из памяти, видимо, ничем не задело. Так, ничего не помню из драмы Сельвинского «Командарм-2», а из пьесы Вишневского «Последний решительный» помню только пулемет, который стрелял (холостыми) в зал.

Еще, пожалуй, запомнилась Зинаида Райх<sup>60</sup> в костюме Гамлета в «Списке благодеяний» Олеси, как запомнилась идея пьесы – героиня ведет два списка: один – список преступлений советской власти, другой – список ее благодеяний. По тогдашнему времени все это было еще возможно, поскольку героиня, актриса Гончарова, едет на Запад и там находит только профанацию искусства и коварных белогвардейцев-эмигрантов. Олешу я любил, Олеше я удивлялся и был очень разочарован, когда уже в Ленинграде прочел его сценарий «Строгий юноша». Но все же в Олешу я верил, и эту веру в его талант поддерживали небольшие статейки-рас-

---

<sup>58</sup> Мария Ивановна Бабанова (1900 – 1983) – советская актриса театра и кино.

<sup>59</sup> Сергей Михайлович Третьяков (Гольдинген) (1892 – 1937; расстрелян) – русский публицист, драматург, поэт-футурист.

<sup>60</sup> Зинаида Николаевна Райх (1894 – 1939) – российская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.

суждения, которые время от времени появлялись в журналах. От Олеси в целом веяло какой-то свежестью и очарованием осязаемого на вкус и крепость слова.

Вспомнился позабытый было спектакль (так тогда говорилось, а не постановка!) в театре Революции: «Человек с портфелем» Файко<sup>61</sup>, где главную роль, злого агента белоохранителей-эмигрантов, играл Астангов<sup>62</sup>, а мальчика, его жертву, – какая-то молоденькая актриса. Впечатление от мелодраматического сюжета было сильное, хотя подробностей я уже не помню.

И совсем смутное впечатление оставил «Воздушный пирог» Ромашева<sup>63</sup>. Что-то о нэпманах, их проделках и крахе.

Еще вспомнились «Рельсы гудят»<sup>64</sup> Киршона в театре МГСПС<sup>65</sup> (не знаю, как расшифровывалось), сюжет был – борьба красного директора железнодорожного депо и инженера из старорежимных, консерватора и рутинера. Побеждал, конечно, при поддержке рабочих «красный директор» – выдвиженец.

Не помню, но как-то по сюжету возникала нэповская

---

<sup>61</sup> Алексей Михайлович Файко (1893 – 1978) – русский советский драматург, режиссер постановки А. Дикий.

<sup>62</sup> Михаил Федорович Астангов (1900 – 1965) – знаменитый советский актер театра и кино.

<sup>63</sup> Борис Сергеевич Ромашов (1895 – 1958) – советский драматург.

<sup>64</sup> Владимир Михайлович Киршон (1902 – 1938) – советский драматург.

<sup>65</sup> МГСПС – театр Московского городского совета профессиональных союзов, создан в 1923 г. литератором и режиссером С.И. Прокофьевым.

квартира, и жена нэпмана, комический персонаж, делала вид, что читает Маркса!

Кажется, видел «Штурм» Билль-Белоцерковского – кажется потому, что полной уверенности у меня нет. В одной из пьес тогдашнего репертуара был постоянный персонаж – матрос-братишка, фигура героико-комическая, может быть, он появлялся в «Штурме», а может быть, в «Любови Яровой» Тренева в Малом театре.

Помню только, что долго интриговала меня афиша этой пьесы, которую я понимал буквально и не мог совместить эпитет «яровая» с существительным «любовь»...

Должен признаться, что чтение газет не всегда у меня складывалось удачно. Так, я очень увлекался фельетонами Сосновского<sup>66</sup> в «Правде». Они действительно были хороши в своем жанре. Он очень увлеченно писал о всяких достижениях крестьян-единоличников (еще не было идеи коллективизации!). Так вот, название одного из его фельетонов я прочел вслух, чем очень рассмешил родителей. Назывался он «Пафос сепаратора», а я прочел: «Пафос серпаптора».

Не знаю, кому принадлежала идея осуществить у нас в школе свою театральную постановку. Был приглашен, как позднее я понял, замечательный характерный актер МХАТа – Таскин<sup>67</sup>. Выбор текста был не очень удачен: решили по-

---

<sup>66</sup> Лев Семенович Сосновский (1886 – 1937) – российский революционер и советский политический деятель, журналист, публицист.

<sup>67</sup> Владимир Александрович Таскин (1894 – 1959) – советский актер.

ставить сцену из «Мятежа» Фурманова. Долго репетировали и сыграли на общешкольном вечере с приглашением родителей. Таскин, который потратил много сил, чтобы создать на сцене «настроение», был недоволен, но зрителям очень понравилось.

Позднее, уже в 1950-е годы, я увидел Таскина в акимовской постановке «Дела» Сухово-Кобылина<sup>68</sup>. Он играл «Очень значительное лицо», и играл прекрасно. Видимо, его ценили в театральных кругах.

Из московских музеев я любил Третьяковку и ходил туда часто, один или с кем-нибудь из школьных приятелей, но с особенной любовью я ходил в Музей новой живописи<sup>69</sup>, собранный из щукинского и морозовского собраний. Тогда там не толпились туристы, и можно было спокойно смотреть, спокойно любоваться хорошими знакомыми. Так же, как в Третьяковке я любил Серова и Нестерова, так в Музее новой живописи мне почему-то полюбился Матисс, особенно его «Танец». Не знаю почему, эту любовь я долго хранил и тогда, когда Музей был закрыт, и картины из него перевезены в Ленинград и помещены на третьем этаже в Эрмитаже. Теперь я к Матиссу охладел и не чувствую той радости, какую он мне дарил в былые годы. Любил я тогда и мадмуазель Самари, а

---

<sup>68</sup> Спектакль в Ленинградском театре им. Ленсовета в постановке и оформлении Н.П. Акимова (см. примечание 41).

<sup>69</sup> Музей новой живописи – Музей нового западного искусства (1919 – 1948) был ликвидирован в 1948 г., фонды переведены в ленинградский Эрмитаж.

роскошные женщины Ренуара художественно к себе не располагали. К Сезанну я был равнодушен и в этой позиции так и остался, хотя Музей, весь как был, тоже, наверно, казался окном в Европу, [хотя] позднейшего ощущения духоты еще не было в воздухе.

Теперь вне хронологии хочу вспомнить, как я стремился прикоснуться к историческим личностям, прямо или косвенно, и что из этого выходило.

Насколько я помню, в 1926 году приезжали в Москву Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс. Ее я так и не видал, а Дугласа видел в кино в двух фильмах, которые покорили меня, со всеми мальчишками страны, в «Робин Гуде» и особенно в «Знаке Зорро». В этих фильмах не было кровавых убийств и бессмысленных драк, а была красивая ловкость и очаровательная мужественность главного героя.

Я не пошел к Белорусскому вокзалу, на который они приехали, а пошел к отелю «Савой», но только издали увидел машину, которая их привезла.

Неудачно я «встречал» Горького. Тут я поехал к Белорусскому вокзалу, но опоздал – Горького уже увезли.

Более удачно, чем я, съездила мама в 1927 году в Ясную Поляну. В Москву приехал французский министр просвещения и захотел побывать в Ясной. Тогда не было ВОКСа<sup>70</sup>, специально для культурных связей и для агентурного наблюдения за приезжими иностранцами. Мама легко болтала по-

---

<sup>70</sup> ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.

французски (сказалось гимназическое воспитание!), и ее послали вместе с министром в Ясную. Из маминого рассказа о поездке я запомнил только финал: отвозила их на станцию дочь Льва Николаевича, Татьяна Львовна. Когда экипаж или сани были поданы, лошадь что-то заартачилась, и тогда Татьяна Львовна так на нее гаркнула, что мама не выдержала и восхитилась: «Ну и графинюшка!» – чем совершенно Татьяну Львовну не смутила.

Самой интересной для меня и вполне состоявшейся встречей со знаменитостью было посещение Радека<sup>71</sup>... Тут необходимо некоторое историческое отступление. Мама с 1906 до 1912 года жила в Лейпциге, там, будучи молодой и красивой, вращалась она в кругу немецких социал-демократов, была знакома с супругами Каутскими<sup>72</sup> и с более молодыми деятелями этого круга – Карлом Либкнехтом<sup>73</sup> и Карлом Радеком. Когда в 1910 или 1911 году был изобретен сальварсан под № 666 и повсеместно рекламировался как панацея от сифилиса, то, как рассказывала мама, встретив-

---

<sup>71</sup> Карл Бернгардович Радек (Кароль Собельзон) (1885 – 1939) – советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения.

<sup>72</sup> Карл Каутский (1854 – 1938) – немецкий экономист, теоретик классического марксизма; Луиза Каутская (1864 – 1944, Освенцим) – австро-немецкая левая политическая деятельница.

<sup>73</sup> Карл Либкнехт (1871 – 1919) – деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один из основателей коммунистической партии Германии.

шись на улице, оба названных деятеля радостно обнялись.

С Радеком у мамы был роман, по-видимому, недолгий и дружески прекращенный. Во всяком случае, мама в Москве возобновила знакомство, посетила Радека с семейством на их квартире в Кремле, удивилась, что его десятилетняя дочка ходит в брючках (до этой моды нам еще было очень далеко!), и пригласила его к нам.

Он пришел один, был очень похож на газетно-журнальные фотографии, одну из которых я вырезал и показал маме рядом с фотографией Ларисы Рейснер<sup>74</sup>, и тут мама позволила себе намек на роман между ними.

Итак, он пришел, просидел у нас часа два, говорил непрерывно на странной смеси русского, немецкого и польского языков. Мне запомнился его рассказ о том, как в 1923 году он сидел в Гамбурге в кафе, а напротив сидел генерал Сект<sup>75</sup>, тогда – командующий рейхсвером (армией). И каждый из них думал: «А завтра я, может быть, тебя арестую...» Ничего больше я не помню, но мама позднее любила рассказывать, как я слушал этого гостя.

По его протекции, видимо, мы попали на выставку Алмазного фонда – она помещалась в Кремле. Там мне запомнился алмаз, которым персы заплатили за Грибоедова, и ма-

---

<sup>74</sup> Лариса Михайловна Рейснер (1895 – 1926) – революционерка, участница Гражданской войны в России, журналистка, писательница.

<sup>75</sup> Ханс фон Сект (1866 – 1936) – немецкий генерал, один из офицеров, восставших немецкую армию после Версальского договора.

ленький поезд, копия того, который первым прошел по Великому Сибирскому пути. Вагончики все были из золота...

Знакомство, если его можно так назвать, с Радеком мне припомнили в 1938 году, когда возникло мое комсомольское «дело» о сокрытии родственных отношений с Радеком. Делавший тогда политическую карьеру Вася Чистов очень хотел доказать, что я сын Радека, но так как «доказать» это было невозможно, то по-настоящему меня можно было обвинить только в обмане комсомола при вступлении в него. В результате я был исключен на общефакультетском собрании, в актовом зале. Голосовали единогласно, все несколько сот человек, кроме Сони Донской, которая на вопрос, почему она воздержалась от голосования, заявила, что не убеждена в убедительности обвинения, мне предъявленного.

Большинство голосовало от полного равнодушия – такие исключения уже стали привычным делом. Иногда, правда, они разнообразились выступлением особо уполномоченных ораторов, призывавших к бдительности и разоблачению скрытых врагов. Некоторую остроту этим речам придавали последующие, скоропостижные события. Так, выступал перед нами секретарь райкома комсомола, недавно назначенный, громил кого следует, а через две недели мы узнали, что он арестован и «оказался» врагом народа. Тогда это словечко «оказался» имело только один смысл... Этого несчастного секретаря мы совсем не знали, но очень театрально выглядел у нас в актовом зале[.] [Вспоминается также] речь

Заковского, очередного начальника Ленинградского НКВД. Он выглядел нарядно и внушительно, был сравнительно молод и даже красив. Не помню, о чем именно он говорил, но тема могла быть одна и та же. И примерно через месяц мы узнаем из газет, что Заковский «оказался» – и каких только он не дождался эпитетов!

Мама долго сохраняла шутивную открытку от Карла Либкнехта, где был изображен император Вильгельм II, и от его имени Карл что-то дружески писал маме. В 1937 году эта открытка и другие были мамой уничтожены. Как оказалось – напрасно, у нас дома никаких обысков не было.

Во время ареста Рунечки<sup>76</sup> взяли только пишущую машинку и иллюстрацию «Обнаженной махи», привезенную Додиком Прицкером<sup>77</sup> из Испании. Машинку после суда (поскольку у нас в приговоре не было конфискации имущества) вернули, а «Маху» – нет.

Итак, весной 1931 года начиналась новая жизнь в полумертвом тогда городе, с забитыми витринами на Невском, с редкими машинами на нем; а поселили нас на Петрозаводской улице, на Петроградской стороне, в доме, где помещалось собрание Н.П. Лихачева<sup>78</sup>, разных каменных древно-

---

<sup>76</sup> Руфь Зернова (Руфь Александровна Зевина) (1919 – 2004) – русская писательница и переводчица, жена И.З. Сермана.

<sup>77</sup> Давид Петрович Прицкер (1917 – 1997) – историк, участник Испанской гражданской войны.

<sup>78</sup> Николай Петрович Лихачев (1862 – 1936) – русский историк, специалист в области источниковедения, дипломатики.

стей, и одновременно помещалось аспирантское общежитие Академии наук.

Летом в саду за зданием шли увлеченные состязания в волейбол, в которых отличался аспирант – природный американский индеец, превосходно игравший и прекрасно говоривший по-русски. Позднее я узнал, что одним из активных волейболистов-любителей был Нобелевский лауреат Черенков<sup>79</sup>.

Петрозаводская расположена параллельно Зелениной, и на ближайшем углу Зелениной и Геслеровского (давно уже Чкаловский) еще стояли какие-то руины, про которые петербургские старожилы объясняли, что это был трактир, изображенный в драме Блока «Незнакомка». Руины исчезли во время войны, сейчас тут сеть ларьков.

В Ленинграде я было перевелся в Книжный техникум, ходил на лекции, проходил «практику» в книжном магазине на Большом проспекте Петроградской стороны, на углу этого проспекта и тогда улицы Розы Люксембург, а ранее – Рыбацкой. «Практика» мне быстро надоела, я дома очень жаловался на скуку, книг, в сущности, было очень мало. И тогда мама решила, что мне надо идти на завод и зарабатывать рабочий стаж, без которого в вуз не поступить... Осенью через какого-то знакомого инженера я поступил на завод «Знамя труда» № 1, который, как это ни удивительно, помещался тогда

---

<sup>79</sup> Павел Алексеевич Черенков (1904 – 1990) – советский физик, лауреат Нобелевской премии за 1958 г. совместно с И.Е. Таммом и И.М. Франком.

на проспекте Красных Зорь (какое поэтическое название!), недалеко от особняка Кшесинской и мечети. Потом он стал Кировским, а сейчас вернул себе старое название Каменно-островского.

На заводе я сначала чувствовал себя как-то неприкаянно, но вскоре был принят, вернее зачислен, в комсомол, пере-знакомился с еврейской молодежью, как и я, зарабатывавшей себе стаж, и влился в коллективную жизнь, первоначально мне очень чужую. Как сейчас понимаю, все основные инженерные должности занимали евреи, и, по-видимому, это не вызывало ни озлобления, ни, как мне казалось, конкурентной борьбы. Вообще безработицы не было, а была категория рабочих-летунов, которые работали зиму, а на лето увольнялись и проводили время с приятностью.

Евреев-станочников было очень мало, только один Исаак Иоффе прославился на весь завод каким-то производственным рекордом.

Постоянное общение с товарищами по работе произвело на меня тогда очень неожиданное и странное впечатление. Я представлял себе пролетариат, особенно питерский, по его книжно-литературному портрету. Все оказалось не так: никаких идеологических интересов, ничего о политике, и не от страха, а просто от полного отсутствия интереса к тому, что выходило за пределы работы и домашних забот.

Напомню, что тогда существовала карточная система, по которой рабочие получали прилично, кроме того, они обе-

дали в заводской столовой, где кормили без карточек и вполне прилично по тем временам. Время от времени менялся управляющий состав столовой – проворовывался... Видимо, слишком велик был соблазн.

Несмотря на карточную систему и полное отсутствие магазинов, существовали только закрытые распределители, где [все] выдавалось по карточкам, работали пивные, где [свободно] продавалось пиво. Ближайшая пивная находилась на круглой площади и потому в просторечии называлась «полукруг». На заводе было только два окончательных алкоголика, из числа тех, которых жены стерегли в дни полочки и проходной.

Еще была любопытная личность, некто Федя Урядников, спившийся боксер, почему-то полюбивший разговаривать со мной; главной темой его рассказов была история его отношений с еврейской девушкой, о которой он всегда вспоминал с сожалением, поскольку она его бросила, вероятно, из-за пьянства. Теперь Федя был слаб, держали его на работе скорей из жалости и под присмотром его молодых друзей.

Насколько мне не изменяет память, в 1933 году под влиянием газетной шумихи о стахановском движении<sup>80</sup> у нас возникла идея создать комсомольскую бригаду из трех человек и к 1 мая этого года собрать сверх плана три насоса

---

<sup>80</sup> Массовое движение новаторов социалистического производства, последователей А.Г. Стаханова (1905 – 1977) – забойщика шахты в Донбассе, возникло в 1935 г.

из тех, что мы делали на заводе для химической промышленности. Мы работали с энтузиазмом и увлечением, перед 1 мая даже дополнительно в ночную смену, собрали насосы, но при последующей проверке они потекли, следовательно, были неудачно загерметизированы. Так неудачно кончился наш опыт стахановского движения; бригада наша распалась, и я перешел в ремонтный цех.

Среди зарабатывавших себе рабочий стаж выделялся своей отстраненностью от комсомола и всякой общественной работы Михаил (он предпочитал, чтобы его звали Майкл!) Михайлов, вполне интеллигентный парень из спортивной семьи. И тут я узнал, что существует особый клан тренеров и преподавателей спорта, клан, где, собираясь в своем клубе, они говорят, в каком наряде появилась на последнем файв-о-клоке Марлен Дитрих и какие-то другие кинодивы. От Майкла, которому брат из заграничного турне привез костюм лондонского изделия (подумать только!), я узнал о его приятеле, молодом красавце Юре Чайковском, который жил за счет женщин, плененных его красотой, и у которого было 27 рубашек! Фантастическая по тем временам цифра. А способ его жизнеустройства был прост – он знакомился с молодыми женами пожилых ученых, всегда был свободен и всегда находил время, чтобы развлечь скучающую супругу вечно занятого ученого.

Поскольку у меня было две или три рубашки, экипировка Юры Чайковского мне казалась чем-то сказочным, так же

как позднее два или три костюма Л.Л. Ракова, читавшего у нас античную историю.

А Майкл и его друзья жили какой-то особенной, непохожей жизнью. Видимо, тогда, до Кировского дела, на эту спортивную публику из-за ее полнейшей аполитичности не было обращено внимание соответствующих органов. Да и запрета на сношения с иностранцами, особенно спортсменами, еще не было. Майкл собирался после завода поступать в институт киноинженеров, что он успешно и осуществил, но я его больше не видел.

В театры я в это время почти не ходил: билеты закупали профсоюзы и раздавали бесплатно. Так я попал на «Недоросля» в Александринском театре, видимо, в разгар новаторских увлечений режиссера. Действие было перенесено в современную, конечно, буржуазную Францию. Помню только, что влюбленные, по-видимому, Милон и Софья, стояли на крыше хлева, из которого бутафорская корова задевала их то рогами, то хвостом.

На производстве, сначала на сборке насосов для химической промышленности, затем в ремонтном цеху, я не проявил особых талантов, только когда надо было прочесть сложный чертеж, я это мог сделать –годились школьные знания по черчению.

Читать в московских журналах, кроме Ильфа и Петрова, было нечего. Да и Зощенко, которого мы очень любили, сменил жанр и вместо веселого перешел на серьезное, вроде

## «Возвращенной молодости» (1933).

Недавно по неожиданному поводу вспомнилось мне одно действительно удивительное театральное впечатление – это «Страх» Афиногенова<sup>81</sup> в Александринке в 1932 году. Пьеса открывалась следующей сценой. Беспартийный Кастальский (он к тому же «сын академика и сенатора») напевает, аккомпанируя себе на рояле. Он пел не романс на стихи Пушкина («Шли годы, бурь порыв мятежный...»), помещенный в печатном тексте пьесы, а модную, хотя и не очень официально одобряемую песенку:

О, эти черные глаза,  
Кто вас полюбит,  
Тот потеряет навсегда  
И счастье, и покой...

Насколько я помню из комсомольской пропаганды того времени, когда я в 1931 – 1934 годах зарабатывал себе рабочий стаж, необходимый для поступления в высшие учебные заведения (вузы), такого рода романсы не поощрялись. Тогда советское звуковое кино стало внедрять в массы песни Дунаевского из «Веселых ребят» и из фильма «Встречный».

Выслушав пенью Кастальского, профессор Бородин, центральный персонаж «Страха», высказывает в сжатом виде свое философско-мировоззренческое кредо: «А хорошо

---

<sup>81</sup> Александр Николаевич Афиногенов (1904 – 1941) – советский драматург; пьеса шла в постановке режиссера Николая Васильевича Петрова (1890 – 1964).

ведь! Какие про любовь песни поют, а? Ничего не поделаешь, вечный безусловный стимул. От первого утра первых людей до последней вечерней зари человечества – только любовь, голод, гнев и страх...»

Обращаю внимание на то, как поэтически выражается профессор Бородин, высказывая свою теорию стимулов: «первое утро первых людей» и «последняя вечерняя заря человечества» – такие образные выражения в устах профессионального ученого удивительны и неожиданны. И далее Бородин еще настойчивее повторяет в сокращенном виде свое, как становится ясным по ходу пьесы, учение о стимулах: «Все людское поведение на четырех китах стоит. Люди любят, боятся, сердятся и голодают. А уж отсюда все остальное».

Настойчивое повторение Бородиным его теории четырех стимулов в начальной сцене драмы многозначительно. Драматург сразу возводит здание пьесы на нужную ему идеологическую высоту. Возможность такого философско-идеологического конфликта поднимает драму Афиногенова на нужный автору уровень эпохального спора.

Позволю себе высказать предположение, что Афиногенов имел в виду замечательного ученого и мыслителя В.И. Вернадского<sup>82</sup>. Как известно, Вернадский считал, что «философские системы как бы соответствуют идеализирован-

---

<sup>82</sup> Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) – русский и советский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель XX в.

ным типам человеческих индивидуальностей, выраженных в формах мышления. Особенно резко и глубоко сказывается такое их значение в даваемой ими конкретной жизненной программе, в текущем их мировоззрении. Пессимистические, оптимистические, скептические, безразличные и т.п. системы одновременно развиваются в человеческой мысли и являются результатом одного и того же стремления понять бесконечное». Указанное в каком-то смысле отождествление философии с искусством приводит Вернадского к отделению от философии собственно *научного мировоззрения*.

Замечу, кстати, что с этим отождествлением философии и искусства в драме Афиногенова связана линия Вали, дочери профессора Бородина. Валя – скульптор. Бородин так говорит о своем влиянии на ее творчество: «Вот Валентина применила мою теорию стимулов в скульптуре, и у нее тоже вышла прекрасная вещь. Можете выдергать мне бороду, если она не получит первого приза на конкурсе». Интересно, что в этой реплике Бородина есть какая-то неточность: непонятно, к чему относится это словечко «тоже», о каких успехах говорит Бородин, которые можно сравнить с достижениями Вали в скульптуре? Созданная под влиянием теории стимулов Бородина статуя, когда с нее снимают покрывало, оказывается, согласно авторской ремарке, «беспредметной горой мускулов, тел, лиц...» И тут старая большевичка Клара объясняет Вале ее ошибку: «ты статую для нашего рабочего дворца вылепила, статуя должна чувства и мысли будить, а у

тебя вместо мыслей на пять минут удивления... Брось, Валя, этого горбатого дядю и начни сначала».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.